

Поль Виардо

Из «Воспоминаний артиста»



SHOUT
SHARE IT



Annotation

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя...»

- [Поль Виардо](#)



- [notes](#)



Поль Виардо

Из «Воспоминаний артиста»

Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя.

Самые первые мои годы оставили у меня в памяти лишь смутный образ старинного маленького замка с башенками, окруженного рвами, заросшими травой, среди которой копошились лягушки: замка Куртавиель, в департаменте Сена-и-Марна, где я родился <...>

А дом наш вечно был полон гостями. Близок был Париж; одни приезжали провести день, другие оставались на несколько месяцев.

Берлиоз приезжал к нам работать с моею матерью, которая оказывала ему большую услугу, исправляя его басы. Как ни странно может это показаться, но этот гениальный композитор был положительно лишен чувства баса. «Взятие Трои» и «Троянцы» были от начала до конца просмотрены моей матерью, пользовавшеюся, в свою очередь, присутствием композитора, чтобы пройти с ним Орфея и Альцесту – роли, так бесподобно исполнявшиеся ею в Лирическом театре и в Опере.

Гуно был также нашим постоянным гостем, моя мать заинтересовалась молодым человеком и познакомила его с большим другом нашей семьи, Эмилем Ожье, который написал для него либретто «Сафо». Это произведение было написано в Куртавиеле, где Гуно, удрученный смертью своего любимого брата, нашел себе гостеприимный приют вместе со своей слепой матерью.

Тургенев оставался другом моих родителей до самой смерти (его сочинения были переведены моим отцом) <...>

Художник Делакруа и Жюль Симон приезжали без предупреждений и всегда были дорогими гостями.

Дезире Арто, в то время еще совсем молодая девушка, занималась пением. Ее представили моей матери в надежде, что та сумеет отговорить ее от театральной карьеры, так как семья ее не признавала за нею никаких способностей. Но мать моя была другого мнения; наперекор желанию родителей, она согласилась давать уроки молодой девушке, сделавшейся впоследствии одною из певиц своего времени.

Мои первые зимы в Париже не оставили во мне отчетливых воспоминаний.

Смутно припоминаю я серьезную болезнь, воспаление легких, которая едва не унесла меня. Моя мать цела тогда Орфея в Лирическом театре. Лечившие меня доктора не позволили ей бросить сцену. «Вы принадлежите публике, – говорили они, – как мы принадлежим больным». И она пела «Я потерял Эвридику», плача часто неподдельными слезами. И хористы, наряженные чертями, спрашивали о здоровье «маленького», потрясая своими факелами.

Успех моей матери в Орфее был, как известно, грандиозен и даже свихнул несколько умов. Одна молодая девушка, присутствовавшая на нескольких представлениях, буквально влюбилась в прекрасного поэта с челом, осененным лаврами, с длинными темными локонами, падающими на красиво задрапированный пеплум, и с прелестнейшими руками в мире. Родители молодой особы приехали к моей матери спросить ее совета. Было решено представить героиню этой причудливой страсти не Орфею ее мечтаний, а самой m-me Виардо. В назначенный час моя мать одела старое домашнее платье, не тронула своих папильоток и в таком наряде вошла в гостиную. Лекарство подействовало великолепно. Иллюзии потонули в сильном припадке слез и рыданий, и огорченная девушка вернулась на путь действительности (...)

Баден сделался моей второю родиной. Вид гор, смолистый запах елей разбудили мои первые ощущения. Всем известно, какую важную роль играл этот маленький город в конце Второй империи, рулетка и живописные места для прогулок сделали его городом роскоши и удовольствий. Весь Париж сливался там со всею Веною и всем Петербургом.

Свет и полусвет были там представлены как нельзя более блестящим образом.

Баден не был, однако, исключительно городом рулетки и веселья: он был также излюбленным местом свиданий венценосцев, приезжавших туда запросто отдохнуть от утомительного этикета (...) Баден, Германия – все это казалось так незначительно, так похоже на опереточное государство, с игрушечными солдатами, чрезмерно услужливою челядью и титулами баронов, графов и даже князей, смотря по величине суммы, полученной на чай!

Наша вилла сделалась центром интеллигенции и артистического мира; воскресные музыкальные собрания

считались величайшей приманкой сезона; многие высокопоставленные лица не останавливались перед унижениями, зачастую бесполезными, чтобы получить приглашения на эти утра.

Я хорошо помню красивый музыкальный дом, устроенный в саду, зал со стенами, украшенными прекрасною коллекцией старинных картин, составлявших радость и гордость моего отца. В глубине возвышался прелестный орган.

По воскресеньям этот зал наполнялся толпою приглашенных, из которых каждый представлял видную величину. Королева Августа являлась всегда очень пунктуально, иногда раньше всех, в сопровождении своей дочери, герцогини и фрейлины. Король, хотя и не особенный любитель музыки, тоже заходил по временам, но предпочитал держаться ближе к выходу, одним жестом останавливая всякие попытки особого к нему внимания.

Наши царственные гости часто приводили с собою какое-нибудь новое лицо, не испрашивая на то разрешения, – невозможно было отказать в приеме старому королю Бельгии, Леопольду I; королю Голландии, большому любителю музыки («...»)

Мой дебют начинающего скрипача состоялся на одном из этих утренних собраний. Совсем еще маленький, одаренный безграничною смелостью, свойственною только детям, я очень забавлял большого усатого господина с необыкновенно светлыми глазами, который сжимал мои детские пальцы в своих громадных могучих руках; это был граф Бисмарк.

Артисты, приглашенные в Баден, все испрашивали позволения показаться перед этою избранною аудиторией, я помню, как я слушал Патти, в самом начале ее славы, Гардони, Лукку, Дезире Арто и др.

Несколько раз приезжал Вагнер. Моя мать познакомилась с ним еще в Париже, когда в одно прекрасное утро он явился к ней, снабженный рекомендацией Мейербера. Сев за рояль, он проиграл несколько мелодий своего сочинения, при этом он испускал такие рычания и аккомпанировал себе так шумно, что положительно не было возможности понять что-либо. Однажды он явился неожиданно и объявил моей матери, что пригласил к нам на завтра двух дам прослушать второй акт «Тристана», который, разумеется, еще не был переведен на французский язык.

Одна только моя мать могла спеть эту роль, так как она была единственная певица в Париже, способная петь по-немецки. Она сделала почти чудо, выучив второй акт в один день, и спела его с Вагнером, что увеличивало трудность положения ввиду безграничной причудливости его аккомпанемента.

Две приглашенные дамы оказались – одна графиней

Вертгеймштейн, бывшую близким другом Листа, другая – графиня Калержи, племянницей знаменитого Нессельроде.

Моя мать, у которой был целый питомник учениц разных национальностей, приучала их к публике, заставляя петь иногда, и этот рой молодых девушек, веселых и большею частью красивых, придавал нашим собраниям обаяние молодости и свежести.

Для этих-то учениц моя мать в своей неустанной деятельности сочинила несколько опереток на тексты, написанные Тургеневым нарочно для этой цели: во-первых. «La nuit Saint-Sylvestre», затем «Le dernier sorcier», удостоившуюся постановки в Веймаре и в Карлсруэ, потом «Trop de femmes» и, наконец, «L'ogre», которою и закапчивалась эта серия.

Эти представления долгое время давались в вилле Тургенева, более удобной, чем паша. Паши дома отделялись только садами. Впоследствии мой отец построил настоящий театр, отлично устроенный, но стоивший очень дорого, но он служил мало, так как война 1870 года сразу положила конец нашему пребыванию в Германии.

Из актеров мужского персонала нас было только двое. Тургенев и я. Для меня писались роли, подходящие к моему росту: «Перлемиениен», великан, превратившийся в карлика, или «Кокосовый орешек», негритенок паши и т. д. Все мои роли были с пением, потому что у меня был хорошенький детский голосок. Остальные роли поручались моим сестрам и вышеупомянутой международной труппе будущих артисток; некоторые из них сделались впоследствии знаменитыми певицами. Какие были веселые репетиции! Какие взрывы хохота всей этой молодежи, когда я первый раз пробовал мою арию с руладами! А бесконечные тревоги и деятельность пчелиного улья, когда дело шло о костюмах! А постановка балета, которою занимался у нас учитель танцев театра в Карлсруэ и метал громы и молнии на тяжеловесность швейцарок, неловкость шведок, медлительность немок, болтливость француженок! И, наконец, волнения первых представлений!

Король Вильгельм смеялся до слез политическим намекам, которыми Тургенев пересыпал свой текст. Моя мать аккомпанировала на рояле, смотрела за всем, бегала во время антрактов за кулисы, чтобы пришить одно, к приколоть другое... После представления волчьему аппетиту исполнителей предлагался ужин, неизменно состоявший из холодной говядины и салата из картофеля. Ужин устраивался у нас так, что надо было пройти через оба сада, и эти ночные процессии в костюмах были также одною из интересных сторон тех достопамятных

вечеров!

Затем наступала зима, городские птицы переселялись; Лихтенвальская аллея покрывалась сухими листьями <...>

Затем идут мои первые годы лица в Карлсруэ, заключение в пансион, разлука с родным домом... потом вакации, веселье возобновившейся летней жизни... и, наконец, печальный и страшный год, страшный даже для ребенка, которому все время приходилось видеть поезда с ранеными и с пленными, набитыми, как скотиной... С каждым днем их было все больше и больше, в то время как хотя отдаленно, но отчетливо слышались выстрелы пушек, посланных добродушным Вильгельмом и графом Бисмарком разгромить несчастный Страсбург!..

* * *

Зима 1870/71 года оставила в моих детских воспоминаниях впечатление болезненного страха. Переход от веселой, шумной и блестящей жизни к печальному и жалкому существованию сбивал меня с толку. Праздники в Бадене, солнце, охота... Потом вдруг война, глухие раскаты пушек, бегство в Лондон, мрачный дом на Девонширской площади, желтый туман, газовые фонари, мигающие среди дня, похожего на ночь; холодная сырость, молчаливые обеды, прерываемые шумом поспешных шагов и криками газетчиков, возвещающих все время о германских победах!

Печальное время!.. Изгнание могло затянуться, и потому меня поместили полупансионером в учебное заведение, находившееся поблизости <...>

Когда я вернулся домой, музыка вступила в свои права; я работал над скрипкою с Штраусом. По четвергам вечером у нас дома бывали большие собрания. Гостиная моих родителей сделалась центром маленькой колонии жертв войны. Лондон стал пристанищем всех изгнанников, всех тех, кто, потеряв свое положение, старался теперь устраиваться как-нибудь по-новому. Моя мать мужественно принялась давать уроки и, благодаря ее громкому имени, ученицы нахлынули потоком. Гуно приносил на наши четверги ореол гения и обаяние своей личности. У него был небольшой голос с несколько глухим тембром, но ни один певец не умел взволновать так, как он. Мошелес, Луи Блан, Стенли, Диккенс и др. были частыми гостями на Девонширской площади.

И несмотря на все это беспокойная тоска туманила все умы; во Франции события следовали одно за другим с ужасающей скоростью, приводившей в трепет даже английское спокойствие.

Война уступила место коммуны. Когда стих этот новый ураган, спокойствие восстановилось мало-помалу, и колония рассеялась в поисках за исчезнувшими состояниями и разрушенными стенами.

* * *

«...» Как только наш «home» ^[1] был снова устроен в Париже, картины повешены и орган поставлен на месте, наши двери распахнулись для знакомых и почитателей моей матери.

Приемы на улице Дуэ были просты: чай и пирожное заменяли пышные «открытые буфеты» с шампанским, какие мы видим теперь неизменно на всех больших вечерах; по зато слушали прекрасную музыку, и ни одни альманах Гота не мог бы перечислить столько имен, знаменитых талантом, если не рождением, составлявших аудиторию этих четвергов. Я помню их: Ренан, Эмиль Ожье, Флобер, Эжен Пелетан, Дешанель, отец и сын, Флоке, ш-ше Адан, Гуно, Сец-Сапс, все художники все знаменитости того времени. Заезжие артисты – Рубинштейны, Венявский, Давыдов, Сарасате считали счастьем участвовать в этих музыкальных собраниях, которые мать моя заканчивала величественными звуками Глюка или Шумана или же пробую каких-либо новых произведений. То были прекрасные артистические вечера подобных которым я не встречал никогда «...»

У нас были также приемы по воскресеньям вечером, но эти собрания сильно отличались от четвергов, посвященных серьезному искусству. Половина большой гостиной превращалась в сцену, столовая в уборную, и раздавалась импровизированная увертюра, предшествовавшая шарадам самым шутовским, самым неслыханным. Нага родственник, географ Поль Жоанн, Сен-Санс и Тургенев были неизменными исполнителями первых ролей «...»

Вот образчик нашей фантазии. Сцена представляет амфитеатр медицинской школы: студенты, между которыми находится молодая студентка-англичанка (Поль Жоанн), окружают профессора (Тургенева). На анатомический стол кладут голый труп (Сен-Санс, облаченный в розовую фланель!). Лекция анатомии. Профессор определяет, что пациент умер от «назита» или чрезмерного разрастания носа. Он собирается уже пронзить его громадным ножом, как вдруг мертвец поднимается! Общий ужас все бегут, за исключением студентки-англичанки, которая падает в обморок и приходит в чувство в объятиях лжепокойника. Все объясняется: влюбленный прибегнул к этой хитрости, чтобы

приблизиться к своей возлюбленной... Наступает ночь, то есть убавляются лампы; следует финальный любовный дуэт, и занавес медленно опускается над обнявшеюся парой, освещенной белой фаянсовой тарелкой, которую я, главный машинист, постепенно поднимаю над ширмой вместо луны.

notes

Домашний очаг – *фр.*